

Татьяна МЕШКО

г. Петрозаводск

Железный фарфор

фрагмент
из одноименной трилогии

Семен Андреевич Морфинский — хозяин бульдожьих щек, растрепанных бровей, чутких, отзывчивых пальцев, считался непревзойденным мастером уникальных операций в области кардиологии. Все изменилось в сорок пять лет — авторские права на создание собственной жизни были решительно отобра- ны с судом и следствием. Руководили в жесто- ком процессе глупые случайности, таинствен- ные недоразумения и мистическая невезучесть. Бесстыдный шабаш этой троицы обрушился внезапно, как обширный инфаркт, осенью, в воскресенье 1950 года.

Известный московский хирург, профессор и коллекционер старинного русского фарфора Се- мен Андреевич, еще не посвященный в заговор времени, благодушно стриг ногти в собственной квартире по улице Пушкинской. Для столь чистоплотной цели на дубовом столе, пришедшем из середины восемнадцатого века, Семен Андреевич расстелил газету «Правда». Когда процедура сре- зания ногтей была закончена, профессор отпра- вился на кухню выпить чашечку чая из фарфора того же возраста, что и стол из мореного дуба. В это время его пятилетняя дочь Соня прошмыгну- ла в отцовский кабинет с набором цветных каран- дашей «Радуга». За Соней следили братья-погодки — Митя и Гарик, вооруженные бутылочкой с гу- стым клеем и ножницами. Соня внимательно изу- чила газету «Правда» и нашла то, что искала — большой портрет усатого дяди. Дядя выглядел красивым, но скучным и строгим. Соня задумчи- во перебрала цветные карандаши — зеленый, фи- олетовый и оранжевый могли преобразить дядю до красоты благородного принца. Соня послуня- вила зеленый, и глаза усача вспыхнули кошачьим блеском. Оранжевый карандаш взбудрил усы до лоскута пламени. Бледно-фиолетовый придал щекам и носу рыцарскую отвагу. Соня критиче- ски осмотрела бумажно-газетного принца. Не хватало акварельных тюбиков, но живописное богат- ство хранилось в детской, в тайном от братьев ук- рытии, в цветастом горшке, куда временами ходи- ла писать не большая девочка Соня, а её кукла Ла- риса. Соня скрестила руки за спиной и вольным стилем конькобежца заскользила по натертому паркету к себе в детскую. Митя и Гарик, семи и восьми лет, с ухмылками воображаемых разбой- ников вышли из-за книжных шкафов. Раскра-

шенный усатый им понравился. Митя и Гарик позавидовали храбрости младшей сестренки. И тогда, сладко упиваясь запретными мужеством и отвагой, Митя и Гарик вырезали из газеты размазанный портрет, из передовой статьи скроили размашистые крылья и чуткими пальцами — отцовское наследство — приклеили крылья к вискам вождя советского народа на фотографии. Захватило дух! Митя и Гарик в сладком восторге догадались — не хватает перьев. Мальчишки быстро состригли мягкие ноготки с рук и ног, сложили всё в замечательную горку, добавили желтые и крепкие ногти отца... Предстояла кропотливая, долгая работа. Ошеломляющему успеху предприятия помогла, того не ведая, младшая сестренка Соня, которая, оказавшись в детской, напрочь забыла про усатый портрет и акварельные краски: нашлись очень важные дела, связанные с кормлением, переодеванием и наказанием куклы Ларисы.

Митя и Гарик тяжело сопели над портретом и крыльями около часа. Наконец бумажные крылья чудесным образом нарастили перья и перышки — детские ноготки и взрослые ногти отлично взял клей. Сурово-ласковый портрет обернулся в грозное чудовище, готовое в любой момент сверкнуть зелеными очами, полыхнуть огненными усами и, развернув когтистые крылья, взмыть к лепному потолку, чтобы сверху отслеживать легкомысленную добычу. Но для полета свежему от раскраски и клея чудовищу надобно подсохнуть, а хорошо подсохнуть можно на стуле, обитом черным бархатом. Мальчишки аккуратно разложили коллективное творение на пузатый от гордости за собственную красоту стул, задвинули его под стол и покинули отцовский кабинет чеканным шагом, представляя солдат на параде.

В тот же воскресный день ожидалась гости — супруги Петр Богданович и Зина Викторовна Косточки — говорящая фамилия! — лицевые мышцы у четы Косточек были сотканы из многочисленных узлов, узелков, узелочков и желваков, напоминая косточки фруктов всевозможных сортов и размеров, да и говорили оба так, словно в горле у каждого намертво застряла косточка. В одной из ведущих клиник Москвы, где трудилось семейство Морфинских в довоенное, военное и послевоенное вре-

мя, Косточки занимали важные и ответственные должности — Петр Богданович был секретарем партийной организации, Зина Викторовна заведовала хозяйственной частью.

Гости пришли ровно в два часа дня. В большой комнате томилось угощение, ершились острые от крахмала салфетки, хрустальные графины дробили на бесценные капли сладкое вино, потела от нетерпения водочка, в серебряном ведреке полулежала бутылка шампанского и дымились кубики льда, а посуда из коллекции русского фарфора водила хоровод, блуждала и опоясывала угощения подобно старинным кружевам, вставшим на дыбы.

Петр Богданович выбрал стул, обитый алым бархатом, — оно и понятно. Зина Викторовна интуитивно предпочла бархат в цвет глаз — зеленый. Семен Андреевич, по скромности и гостеприимству, задвинул стул с неприметным, серым бархатом. Эсфирь Сергеевна Морфинская, жена, мама и гинеколог, порхала возле нарядного стола, как птичка над гнездом, по извечной рассеянности забывая и вспоминая необходимо-ненужные столовые приборы до тех пор, пока Семен Андреевич не взмолился:

— Фирочка! Все остынет! Садись скорее! — и в голосе, и в глазах Семена Андреевича тоже порхали птички банальной, но все-таки древней породы: любовь и нежность.

— Да, да! Сейчас! Кажется, все готово! Или я не права? Конечно, не права! Как всегда, забыли самое главное! Забыли поставить еще один стул... — защebetала Эсфирь Сергеевна ласковым сопрано, безуспешно истребляя народную молву о грубых, низких голосах у женщин-гинекологов.

— Мы сейчас! — хором крикнули не допущенные к столу, но внимательно наблюдавшие за происходящими действиями из-за прикрытой двери Митя, Гарик и Соня. — Мы принесем!

Гости слащаво-приторно улыбнулись, при этом у Петра Богдановича Косточки образовались сливовые косточки над бровями, а у Зины Викторовны странным образом выскочили косточки на щеках, и эти косточки были от черешни.

Стул для Эсфирь Сергеевны приехал торжественно, громко, небрежно, царапая паркет, сбивая ковер, толкая легкую этажерку: стул, обитый черным бархатом, требовал к себе внимания за-

одно с детьми семейства Морфинских. Но детей попросили уйти. Стул остался. Эсфирь Сергеевна, прежде чем устроиться рядышком с мужем, предложила гостям для разгона попробовать тягучего красного вина.

— Это напиток богов! Мы все его отведаем! Сёма, подай вон тот графинчик... Нет, нет! Я сама наполню рюмочки... Это же не вино! Это нектар! А нектар разливают женщины. Или я не права?

Семен Андреевич, с улыбкой блаженного, постигнувшего тайный смысл предметов, свернул хрустальную головку у хрустального кувшинчика, внутри которого алой кровью волновался нектар, и протянул кувшинчик Эсфирь Сергеевне как божественный дар.

Эсфирь Сергеевна приняла кувшинчик левой рукой, а правой взяла рюмку на витой ножке. В тот момент, когда густая жидкость собралась проделать классический путь от графина к рюмке, с воплем зашибленного поросенка, со скоростью летящей пули промчался сиреневый персидский кот Леонардо. От испуга капризный нектар резко поменял маршрут следования: он вырвался из кувшинчика как непредсказуемый джинн и выплеснул себя без остатка на тот стул, одетый в черное.

— Ух ты, разбойник! — восхитился Семен Андреевич.

— Ой, посмотрите! Кто это сделал? Как забавно! — серебром рассмеялась Эсфирь Сергеевна.

— Это мы сделали! Это мы! Это как примерка для воздушного змея! — обливаясь счастьем и гордостью, протелеграфировали из-за дверей Митя и Гарик.

— Это не вы! Сначала я раскрасила! Я! Это я злого перекрасила в доброго! — пятилетняя Соня вышла в центр комнаты и даже притопнула ножкой, обутой в лаковую туфельку. — Это все равно я!

Супруги Косточки с плохо наигранным интересом — обоим хотелось выпить и сытно закусить — посмотрели в сторону черного бархата.

На черный бархат, словно венозная кровь, пролилось вино. Супруги Косточки резко встали, быстрым шагом обогнули круглый стол и низко поклонились стулу, будто стул на самом деле получил тяжкие раны с мощным кровотечением. Больше всего пострадал разукрашенный, безухий, но когтисто-крылатый портрет

товарища Сталина — густое вино смертельными ранками запеклось на голове, шее, протекло на крылатые уши, завязло между ноготков и ногтей вроде точек, запятых, кавычек, знаков и символов — всё вместе походило на таинственный список исчезнувшего с лица земли опасного и злобного народа. Изуродованный вождь покоился на черном бархате, будто на траурной подушке, будто от вождя в неравной и жестокой битве с тем племенем остался единственный трофей — бумажная голова.

Супруги Косточки взметнули к потолку брови. Петр Богданович Косточка словно уничтожил свои губы и взамен вырастил черную арбузную косточку. Зина Викторовна Косточка округлила покрашенный рот до размера косточки абрикоса. Глаза супругов выцвели, сузились, превращаясь в скользкие косточки гниющей дыни. Вскормив фруктовые косточки сложными чувствами, супруги Косточки вернулись на прежние места. Нависла тяжелая пауза.

Семен Андреевич наконец оторвал любящий взор от Эсфирь Сергеевны, осторожно встал, посмотрел на стул в черном бархате, и взгляд хирурга будто намертво схватил все тот же клей, что прибил к газетным крыльям ногти и ноготки. Зрочки Семена Андреевича застыли, окаменели и даже высохли, а мысли пошли вскачь, помчались под откос, взяли разбег, но когда лихорадочные думы хирурга прибыли на место, Семену Андреевичу Морфинскому явилось откровение: жена Эсфирь Сергеевна, пятилетняя дочь Соня, сынишки Митя и Гарик и сам глава семейства профессор Морфинский летят в пропасть.

Пауза тянулась, как бессонная ночь. Дети, напуганные тишиной, разбежались. Эсфирь Сергеевна безнадежно опустилась на злосчастный стул и безнадежно опрокинула в себя пустую рюмочку нектара. Брови супругов Косточек упорно летали с юга на север, будто чертили жизненный маршрут неосторожного семейства Морфинских. Персидский кот Леонардо с восточной ленью развалился на восточном ковре вверх брюхом. Над люстрой звенела муха. Под люстрой переглядывались туманные лики вельможных особ, населявшие столовый сервиз из коллекции русского фарфора.

— Да, да! — вышел из оцепенения и пошел в фарфоровую атаку Семен Андреевич. — Види-

те ли, русский фарфор — это извечный критерий красоты и гармонии.

Тишина вздрогнула, но не ушла — фраза повисла в воздухе, словно человек, вздернувший самого себя за шею.

— Именно! — повысил голос Семен Андреевич, — именно красоты и гармонии. Продукция Императорских фарфоровых заводов — это не просто предметы, это парение духа, а парение духа как раз и соответствовало идеям классицизма...

— Простите, каких заводов? — подавился неведомой косточкой Петр Богданович.

— Императорских заводов, — вызывающе твердо ответил профессор Морфинский. — А продукция Императорских заводов первой четверти XIX века отображала, между прочим, идеи просвещения, связанные с величайшими надеждами передовой части русского дворянства, когда на престол взошел Александр Первый. Именно! Александр Первый.

Профессор Морфинский, взволнованный речью, потерявший ориентацию во времени, заблудившийся в веках, эпохах, идеологиях, войнах и революциях, для стойкости духа выдернул со стола бутылку водки, щелчком сбил пробку, вольными глотками обреченного опустошил все наполовину и благородно, как дуэльную перчатку, протянул остатки Петру Богдановичу — профессор Морфинский сражался за семью на свой лад, беспомощно-коллекционный.

У Петра Богдановича выросли абрикосовые, персиковые, вишневые косточки на раздольном партийном лбу, а пить водку супруг Косточка не возжелал, он лишь брезгливо осушил мокрые ладони о салфетку.

— Уважаете царей? — вкрадчиво поинтересовался Петр Богданович.

— Да что там цари! Русские цари — особая статья. Вы посмотрите на фарфор! В нем воспета Россия, воспет её народ, ей-богу, достойный героев античности! И воспето все русскими мастерами на манер античности! Все легко, изяшно, благородно, все движется и живет! Честное слово, живет! И будет жить. Вот именно.

От крепкой, холодной водки стремительно, как болевой шок, к Семену Андреевичу вернулась надежда на мировую гармонию через постижение красоты русского фарфора. К Эсфирь Сергеевне, наоборот, стремительно ри-

нулись безнадежность и обычный бабский страх. Фирочка заполоскала руками, которые сотни раз встречали новые, очищенные от земных грехов, жизни:

— Сёма! О чем ты говоришь? При чем здесь русский фарфор и просвещенное дворянство?

— Нет, нет! Все верно, — супруг Косточка прибил кулаком снежный пик салфетки. — Мы пришли как раз для того, чтобы ознакомиться с вашей коллекцией. Говорите, что идеи царского просвещения будут вечно жить?

— Утверждаю! Примеры перед вами... Тарелки с росписью сенок крестьянской жизни! Они перед вами: кухарка и продавец рыбы, девушки за прялкой, дровосек, деревенская женщина с коромыслом... Потерянные, думаю, навсегда порядок, чистота, уют... Это уже произведения мануфактурных предприятий России... Это сам Гарднер! А вот и Миллер... Каково?

— Хм... Немцы, значит... А советский фарфор? Имеется? Или он не дотянул до этого... передового...

Петр Богданович отчего-то ткнул пальцем в сторону кота, а породистый, избалованный, зацелованный и перекормленный Леонардо терпеть не мог фамильярностей даже от секретарей партийных образований.

— Конечно! Конечно, имеется! — взревел Семен Андреевич. — Фирочка, возьми эту чашечку с блюдцем... Да, да! Полюбуйтесь. Перед вами образец Кузнецовского фарфора, тридцатые годы... Красногвардейцы с красными бантами, орнамент в виде серпа и молота... Извольте взглянуть... Фирочка, поднеси прибор с краснолобыми, из серии агиток...

Фирочка легкими руками уже прикоснулась к образцу советского разлива (коллекции советского и русского фарфора имели общую прописку в длинных стеллажах из карельской березы и жили одной семьей, будто в коммуналке), но взгляд Эсфирь Сергеевны нечаянно упал на бестолковую тарелку с портретом товарища Сталина: ясные очи сокола, душевные усы Деда Мороза — вождь был расписан елейными красками.

— У нас не только красногвардейцы, у нас и Иосиф Виссарионович Сталин есть! Показывать? Вам любопытно?

— Да, любопытно, — даже не сказали, а словно запротоколировали супруги Косточки. Осто-

рожно, как ребенка из чрева матери, Эсфирь Сергеевна приняла с полки многозначительную тарелку, шагнула к столу, и Петр Богданович, вроде ассистирующего акушера, простер руки. Но кот Леонардо, должно быть, в одну из девяти кошачьих жизней такой жест познал на собственной шкуре, должно быть, такой жест ничего приятного не сулил для котов, персидская кровь разыграла с южной страстью и несдержанностью, требуя запоздалой мести: Леонардо издал горловой вопль, чуткое ухо могло уловить восточный акцент, угрожающе выгнул спинку и отпущенной стрелой метнулся на Петра Богдановича. Тарелка с портретом товарища Сталина как раз переходила из рук хирурга в руки партийного секретаря. Когти Леонардо, вроде бритвы, вспороли запястья Петра Богдановича. Кровь тонкими ручейками пролилась сквозь пальцы, набухла тяжелыми каплями, оросила алым цветом и тарелку, и паркет, и обувь... Эсфирь Сергеевна и Петр Богданович скрестили взгляды вроде шпага на долю секунды, но сразу поняли: борьба не имеет смысла. Они опустили и глаза, и руки. Тарелка упала и разбилась, как то вековечное яйцо из русской сказки.

Тут же ворвалась суматоха, вроде цыганского балагана: кот Леонардо с истеричной скоростью стал опоясывать комнату, невидимыми веревками паковать фарфор, безделушки, мебель, угощения, стол, супругов Морфинских, стулья, картины, люстру, звенящую муху в плафоне и одинокого паучка в дальнем углу; Зина Викторовна выскочила из оцепенения, как насекомое из кокона, и, опрокидывая по ходу стулья, кинулась нянчить рану Петра Богдановича; Петр Богданович нечаянно наступил на осколок, и фарфоровая скорлупа со звоном падающих сосулук превратилась в недоваренную кашу; Семен Андреевич грузно поднялся, зацепил скатерть, а нахрамленный лен с удовольствием сбросил ведро со льдом и шампанским, которое тут же выстрелило пробкой и с неуместной радостью брызнуло салютом; посуда из Гурьевского фарфора слегка вздрогнула, вельможные особы на салатницах, блюдах, вазах закатили глаза, чтобы упасть в глазуревые обмороки, но, слава Богу, передумали; Эсфирь Сергеевна моргала шоколадными очами и повторяла одно и то же: «А дети? А дети? А дети?»; дети прибежали на шум,

звон, гомон, топот и крики, но когда перед ними развернулась картина хаоса — громко заплакали.

Эсфирь Сергеевна шагнула было к Соне, Мите и Гарику, чтобы обнять, успокоить, увести, но словно запнулась о детские взгляды — дети плакали без слез, а карие, зеленые и синие глаза (ювелирная смесь еврейской и русской кровей) смотрели неподвижно и как-то зеркально, будто ребячьи души подплыли к радужным оболочкам, чтобы запомнить все, выучить наизусть и потом долго хранить. Душа Эсфирь Сергеевны в дурном предчувствии треснула, вроде коллекционного блюдца, а сама Эсфирь Сергеевна закричала высоким голосом:

— Это невозможно! Этого не может быть! Сема! Оставь шампанское! Это невозможно!

— Это диверсия, — взвизгнула Зина Викторовна. — Здесь все подстроено! Это враги! Здесь все подстроено! Нам здесь не место, Петр! Тьфу!

Она наконец-то выплюнула застрявшую с рождения косточку недозрелой вишни, но никто не заметил.

— Здесь беспорядок. Беспорядок в образе жизни. Мы разберемся. Позже, — Петр Богданович внимательно оглядел разбитую комнату, словно искал персидское отродье, которое незаметно и бесшумно сгинуло. — Мы попозже разберемся.

— Предлагаю зайти в ванную комнату немедленно, — тоном оперирующего врача ответил Семен Андреевич. — Необходимо продезинфицировать рану.

— А я не позволю! — запротестовала Зина Викторовна, прижимая к тощим грудкам пострадавшую руку мужа. — В вашем доме диверсии за каждым углом. Хватит!

Должно быть, «хватит» сыграло роль кнута — цыганский балаган, запряженный суматохой, как гнедыми кобылами, набитый до отказа неразберихой и хаосом, цыганками с бубнами, цыганами с трубками, чумазыми цыганятами и веселыми медведями, взял и уехал, оставив после себя мусор, битое стекло, запахи вина, крови и потухшего очага.

Под утро приехала другая упряжка. «Ворон» забрал семью хирурга Морфинского после разрушительного обыска. Персидский кот Леонардо, схоронивший себя под ванной, еще долго и страшно выл в опечатанной квартире, наводя на соседей бессонницу и трепетное

почтение перед железным Законом и фарфоровым Правосудием.

Семью Морфинских разрезали пополам: Эсфирь Сергеевну с детьми отправили на поселение, Семена Андреевича — за колючую проволоку возле Полярного Урала. Бессмысленная, но неоспоримая формулировка «враг народа» мучила хирурга до пятидесяти третьего года. После амнистии (без права прописки в Москве) Семен Андреевич два года разыскивал Фирочку, Соню, Митю и Гарика. След привел в Тобольск. Но профессор Морфинский опоздал на четыре месяца: жена и дети погибли от дизентерии.

Семен Андреевич ушел в тяжелый и долгий запой, в тот запой, из которого по российским правилам обратного хода нет. Профессор Морфинский обитал в кладбищенской сторожке и за силовое пойло мастерил гробы и копал могилы.

Как-то по весне Семен Андреевич привычно брел к четырем холмикам, где второй год изрыгал слезы и глотал все, что имеет спирт. Внезапно он споткнулся о человека. Молодая женщина корчилась от боли на сырой и голой земле возле железной ограды, за пределами которой покоился с миром некто усопший. Глаза женщины уже видели то, что живым людям видеть нельзя. Семен Андреевич, находясь в болезненном похмелье, хотел было пройти мимо, но его руки стали действовать и даже мыслить сами по себе, тогда как чувства и желания стремились к четырем холмикам и пузырьку с чистым спиртом. Руки Семена Андреевича внимательно, чутко осмотрели женщину и вынесли диагноз — внематочная беременность и, как следствие, — обширное внутреннее кровотечение. Автономные от утопшей в горе и пьянстве душе руки бывшего хирурга перенесли женщину в грязную, захарканную сторожку, устроили больную на дощатый стол, зачем-то вскипятили воду, отыскивали нож, сделали тщательную дезинфекцию ножа в кипятке и чекушке чистого спирта... Но вдруг замутненный взгляд Семена Андреевича словно приклеился к остаткам спирта в пузырьке... Эта чекушка вроде как сверкнула острым глазом. Глаз плавал в бутылке, как золотая рыбка в аквариуме, и подмигивал мокрым веком, как продажная девка.

— Чего тебе надобно, старче? — булькнул глаз из чекушки.

— Опохмелиться, — стыдливо признался профессор Морфинский.

— Молодец, старый! — похвалил глаз, имевший прописку в загадочной стране под названием «Белая горячка». — Это можно.

Семен Андреевич, умываясь похмельными слезами, бережно взял бутылку за горло.

Спиртовой глаз внимательно наблюдал. Но когда расстояние между чекушкой и профессором сократилось, то глаз обернулся небольшим зеркальцем величиной с мизинец ребенка. Зеркальце молчало, не булькало утиным голосом, зеркало показывало незнакомое лицо, и это лицо было страшным. Семен Андреевич пригляделся: его физиономия походила на маску, состряпанную из сырого теста, лицо будто раздулось от кислых дрожжей и выпирало из самого себя; красные глазки буравили раскаленными гвоздями, брови распустили собачьи хвосты, черные, мокрые губы шевелились, как трупные черви. Семен Андреевич Морфинский подошел к окну и еще раз посмотрел в бутылку — из бутылки по-прежнему корчил рожи страшный человек, и этим человеком был он: профессор, хирург, коллекционер фарфора, вдовец, заключенный, бывший враг народа...

Кладбищенский работник отшвырнул бутылочку со спиртом и вытянул перед собой руки — они дрожали и корчились, они потеряли память так же внезапно, как и нашли её минуту назад. Что-то больно ужалило хирурга в сердце и в голову, Семену Андреевичу показалось: сырое тесто, в которое его закатали вроде начинки горе, пьянство и слабость души отваливаются рыхлыми кусками, а под тестом еще тлеет огонь, еще теплится его пропитая, изувеченная жизнь.

Семен Андреевич оглянулся на женщину — смерть уже вязала над ней липкую паутину. Бывший хирург подхватил умирающую на руки. Выскочил из сторожки, как из пожарища, и резкий ветер нанес первый отрезвляющий удар.

Он бежал со своей ношей... кричал... выл... спотыкался... снова бежал... продирался сквозь колючие кусты... ругался матом...

Лихой грузовик догнал его на пустынной, разбитой по весне дороге.

— В больницу, — прохрипел Семен Андреевич. Бывалый северный водила молча оценил ситуацию и благородно кивнул.

Грузовик на полном ходу мчал к больнице, а профессору Морфинскому мерещилось: дорога летит не в город Тобольск, а назад в прошлое.

Женщина с внематочной беременностью не только выкарабкалась с того света, но и выдержала из кладбищенской бездны Семена Андреевича. Профессор Морфинский остался в больнице сначала сторожем, потом уборщиком, истопником, санитаром, медбратом, врачом, заведующим отделением кардиологии и терапии и, наконец, главным врачом. Устроили Семена Андреевича в деревянном доме бывшего земского врача. Кормился в больнице. Работал по пятнадцать часов в сутки. Пить бросил. Измученная, искалеченная, истерзанная душа Семена Андреевича спряталась вроде подыхающей собаки и наружу не выползала.

Жизнь Семена Андреевича превратилась в некую ленту однообразной кардиограммы: операции, больные, хлорка, перевязки, раны, зашивание ран, капельницы, вскрытия, реки больной, человеческой крови и слез.

Врач Морфинский забыл о себе. Семейную фотографию из безмятежной, полной нежности и любви жизни решительно захоронил под матрасом в квартире бывшего земского врача. Временами случалось, что Морфинский лил горькие, но уже трезвые слезы по ночам, представляя, что лежит он не на фотоснимке, а на тех четырех кладбищенских холмиках. Утром очень стеснялся своей слабости.

Но судьба не бросает своих «любимчиков» на произвол. Она питает слабость к изощренным поворотам жизни ее, зигзагам, кульбитам — все для того, чтобы выдернуть человека из вязкой, недоваренной бытовой каши, куда сама его и втиснула.

Ранним сырым осенним утром больничную тишину разрезал вой «скорой помощи». Семен Андреевич был на посту. На носилках привезли девочку-подростка. Она походила на восковую свечку, и Семен Андреевич сонным глазом поначалу решил — больная по дороге умерла. Но что-то неведомое или профессиональное заставило его припасть ухом к еще по-детски хрупким косточкам грудной клетки. Только еврейско-музыкальное ухо, да еще отягощенное врачебным талантом, расслышало слабый стук сердца — он походил на нераз-

борчивый шепот из потустороннего мира. Семен Андреевич был материалистом. В загробную жизнь не верил. Верил в медицину. Диагноз поставил на одном дыхании: летаргический сон. Облегченно вздохнул, отдал нужные распоряжения и впился глазами в неразборчивый почерк дежурного врача.

Девочку привезли из детского дома. Возраст — пятнадцать лет. Называлась Катей Непомнящей. Происхождение неизвестное. То есть мамы и папы у Кати не было. Конечно, они были, но сгинули в неизвестном направлении. Семен Андреевич обреченно вздохнул и распорядился поместить Катю Непомнящую в отдельную палату.

Оказалось: душа Семена Андреевича не издохла. Оказалось: душа Семена Андреевича ждала случая, чтобы выйти из тайных углов и расправить свалывшиеся перья. Общипанная, вроде курицы для бульона, душа встрепенулась при виде жалкой, беспомощной, никому не нужной Кати Непомнящей, и в голове профессора Морфинского разбух план: вылечить, забрать из детского дома, удочерить, воспитать, выучить, выдать замуж, дождаться внуков и умереть. План вспыхнул, как падающая звезда, осветив будущее профессора Морфинского до самого доньшка. Семен Андреевич выбежал из палаты, чтобы обуздать и приручить грядущие десятилетия, годы, месяцы и дни.

После микстур, капельниц, массажей Катя Непомнящая все равно спала, и её сон походил на смерть. Внезапное пробуждение было как взрыв. Оно случилось в полнолуние. Катя распахнула глаза, увидела необычную обстановку, очищенную от ряда детских коек, и очень испугалась. Но юный организм и еще детское любопытство взяли верх. От предвкушения разгадки у Кати замирало сердце и бегали острые мурашки. Девочка приоткрыла дверь палаты и выглянула в больничный коридор — ночная медсестра храпела на кушетке, как и полагается ночным медсестрам; ослепшая от лунного света лампа звенела комариной песенкой; дежурный пост, устроенный полукругом, скрывал в глубине аккуратную горку медицинских карт пациентов Тобольской городской больницы.

Катя босыми, слабыми ножками вступила на

скользкий линолеум, сделала первый, неуверенный шаг навстречу будущему, и это было замечено Всевышним, который сразу отправил на землю множество знаков: чиркнул метеор, на луну опустили занавес, в светильнике лопнул проводок, коридор больницы сиганул во тьму, медсестра увидела вещий сон и вскрикнула дурным голосом, а за окном Катиной палаты сорвалась с ночевки жирная ворона, но через минуту птица испустила дух из-за несварения желудка — в недозрелых жилках выкидыша Люси Корнеплодовой застыла не кровь, а ядовитая сивуха.

Катя Непомнящая не разгадала, не увидела, не заметила намеков Всевышнего. В крошечной тьме девочка добралась до поста, схватила пухлую стопку историй болезней и бесшумно, как легкий сквозняк, юркнула к себе. Она перебирала медицинские карты дрожащими пальцами так же неумело, как выдергивала мерезжку на уроках домоводства: на одеяло сыпались рецепты, листки с анализами мочи, кала, крови, рулончики с кардиограммами... падало все, что плохо лежало, и потом врачи долго разбирали медицинскую неразбериху, которую нечаянно подстроила Катя Непомнящая.

Медицинская карта Кати Непомнящей оказалась толстой, словно обрубок ватного одеяла, все было исчирано невнятными письменами — подобных букв Катя не знала. Гласные, согласные, предлоги, частицы, закорючки, крючки, галочки... они летели птичьими косяками, стремились вырваться из бумажной тюрьмы в синее небо и превратиться в настоящих крылатых.

Катя долго сопела, пытела, ловила чернильных галок за хвосты... наконец мизинец задел понятную фразу: госпитализирована на «скорой помощи» и доставлена в городскую больницу в отделение реанимации 30 октября 1961 года с предварительным диагнозом «летаргический сон» на фоне физического и нервного истощения. Диагноз подтвержден 5 ноября. Больной... капельницы... выходила... улучшается... в норме... анам... лейко...

Катя Непомнящая не помнила из школьного учебника по биологии термина «летаргический сон», но это слово показалось нехорошим: Катя не любила, когда сливались согласные «р», «г», от таких встреч веяло чем-то острым, ржавым, колючим и безжалостным. Катя поката

страшное слово на языке, и во рту остался кислый запах. Катя принялась лихорадочно искать убежища в самой себе, но кроме любимого предателя Германа, ночного видения мамы и дикой тети Ньюры ничего не отыскала. Спину тотчас прожег озноб — Катя вспотела, замерзла, снова вспотела... Кислятина во рту расплзлась — вот-вот вырвет... Девочка собрала в охапку истории болезней, выбежала в коридор, кое-как устроила бумаги на прежнее место и уже без сил поплелась в уборную.

Её рвало чем-то жидким и светло-коричневым, а запахи кала, хлорки и мочи, которые не просто висели в воздухе, а лежали толстыми пластами на крашенных досках уборной, словно заарканили нутро девочки скользкими веревками, чтобы выудить кишки... Рвота вытягивала слезы, они капали в зловонную яму, как слепой дождь. Кате Непомнящей показалось: от рвоты и слез она ослепнет, оглохнет, онемее... Но юный организм хотел жить, и краешек сознания все-таки зацепил что-то целебное и светлое.

«Дочку свою я сейчас разбуджу... в серые глазки её погляжу... — выплыли из недавнего счастья стихи, которые декламировал студент МГУ Герман, и память тут же продолжила строчку, словно в голове у девочки качался бутон, который расправил лепестки: — А за окном шелестят тополя... нет на земле твоего короля».

Рвота сразу прошла, будто стихи Анны Ахматовой напоили Катю Непомнящую живительным отваром. Девочка выбежала из уборной, на цыпочках пролетела по коридору, и палата уже близко, но взгляд нечаянно зацепил луч света — он пробивал дорожку из приоткрытых дверей. Катя зачем-то остановилась. К тому времени луна освободилась от ночной тучи и снова обливала небесным молоком уснувшую землю, поэтому девочка без особого труда разглядела табличку — «главный врач Семен Андреевич Морфинский».

Катя заглянула в кабинет — никого не было, но оставленная без присмотра настольная лампа манила вроде указательного пальца. Катя зашла. В кабинете главного врача Тобольской больницы царили порядок и чистота, как в операционной. На письменном столе, будто по росту, расположились лампа, чернильный прибор, солидная книга и календарь. Катя

потрогала чернильный прибор — холодный, железный, скучный. Провела пальчиком по солидной книге — коричневая, название выбито золотыми буквами «Словарь иностранных слов». От внезапной догадки вспотели ладони: Катя подвинула книгу к лампе, глубоко вздохнула, зажмурила, распахнула глаза и решительно открыла словарь под редакцией Лёхина и проф. Петрова. Буквы плясали, вертелись, скакали, строили рожицы, крутили фигуры... но Катя заставила их подчиниться, словно это и не буквы, а хищники, а Катя не больная девочка, а дрессировщик с хлыстом. Когда буквы успокоились, то слова «летаргический сон» нашлись быстро, очень быстро, наверное, они ждали, чтобы Катя их разыскала. И как только Катя Непомнящая их нашла, они торопливо и загадочно ответили: «Летаргический сон, см. летаргия. Летаргия — от греческого забвение.

1) Особое болезненное состояние, похожее на глубокий сон и длящееся от нескольких часов до нескольких месяцев с почти неощутимыми в тяжелых случаях дыханием и пульсом. Л. может быть одним из проявлений истерии.

2) Спячка, неподвижность, бездеятельность».

Катя захлопнула книгу и посмотрела на календарь — он ответил: 15 января 1962 г.

Страшное открытие заползло в душу вроде гадюки, свернулось в клубок, выпустило жало, отравило ядом, сгорбило Катю на манер древней старухи, и первая морщина, как подснежник, пробилась возле детского рта. Девочка по фамилии Непомнящая собралась было заплакать, но что-то воспротивилось слезам, и это что-то было новым и важным.

Катя Непомнящая скоротала остаток ночи под одеялом — больничный мир стал враждебным, лживым, бесцветным, поэтому смотреть вокруг не хотелось. Думать о летаргическом сне тоже не хотелось — время, которое исчезло без разрешения и спроса, потерялось, как иголка, сыграло с ней злую шутку, оказалось таким же предателем, как и Герман, которого она любила впервые и навсегда. Кате мучительно думалось: чередой обманов выращивает на её коже острые колючки и шипы.

Из оцепенения, твердого, как панцирь черепахи, девочку выдернул знакомый голос:

— Ну-с... Как мы сегодня? Где спряталась кудрявая головка? — Семен Андреевич обращался к спящей Кате, но когда услышал ответ, то сердце его упало вниз, будто с небоскреба, которого он сроду не видел. Но больше невиданного небоскреба профессора Морфинского поразила поза Кати Непомнящей — она лежала не прямо, как в гробу, она уютно лежала на правом боку, выпростав на подушку полудетские ладони.

Знакомый с полусна голос профессора Морфинского был теплым, как чай, но Катя знала: и это обман.

— Мы еще спим? Ну-с... Надо просыпаться! Грядут перемены.

Знакомый голос потеплел еще больше, словно чай поставили греться на плиту, и Катя высунула из-под одеяла растрепанную макушку.

— М-да! Выходит, мы не спим? Как самочувствие?

Хозяин бульдожьих щек и подвижных бровей выглядел торжественно, радостно и взволнованно, словно поймал за хвост большую удачу, но Катя не знала, что такое удача, поэтому решила испортить доктору настроение:

— Почему вы все врётё?

— Кто врёт? — растерялся доктор.

— Вы все врете! Пока я здесь лежу, мне все врут! Делают ласковые голоса, а врут. Все врут! И вы врете! Почему врете? Что я вам сделала? Что? Врете! Врете! Врете! — слово завертелось на языке, как юла, как пустая катушка от ниток, и сквозь пустоту верчения Катя услышала запах лекарств — он шел от доктора. Желудок снова сжался в кулак. Катю вырвало слюной на одеяло, но слово все равно крутилось: — Врете... врете... врете...

Семен Андреевич загнал брови к переносице. Смутная догадка мелькнула, превратилась в точку, подросла и выросла в точный диагноз:

— М-да... Катенька... тебя давно тошнит?

— Врете... два дня... врете...

— Живот болит?... Я проверю животик... Спокойно... Вот так... Вытянись... Здесь больно? Нет? А здесь? Хорошо... А здесь? Тоже нет? М-да...

Чуткие пальцы профессора Морфинского летали по Катиному животу, словно ласточки, успокаивали желудок и прогоняли рвоту.

Семен Андреевич машинально вытер руки о полотенце и нахмурился еще больше.

— Катя... Ты... м-да... тебя надо показать другому врачу. Мы приведем другого врача. Послушай, Катя... Ты не хочешь рассказать, что с тобой произошло до больницы? — профессор Морфинский ощетинил брови.

— Вы мне врете, а я вам правду выкладывай? Сначала вы сами правду скажите!

Катя упрямо сжала губы, возле которых трепетала от обиды, как от резкого ветра, первая морщинка.

— Какую правду? — осторожно спросил бывший профессор.

— Сами знаете какую. Думали, что я дурочка? Думали, что если я в «дедке» живу, то со мной можно как с дурочкой? А я всех вас перехитрила. А я знаю, чем болею! Поняли?

Воспитанница детского дома изящно и гордо вскинула подбородок, а Семен Андреевич с великим изумлением отметил: линия шеи у бездомной девочки совпадает с благородными чертами вельможных особ на сервизах знаменитого Гурьевского фарфора. Но та коллекция разбита жестокими людьми, как и жизнь Семена Андреевича, а брошенные на произвол судьбы дети никак не могут повторять изысканность и хрупкую красоту фарфоровых женщин. Тем не менее Катя Непомнящая будто бы соскользнула из коллекционной чистоты музеев в грязную и суровую жизнь, на бытовую койку.

Ожившая, но не окрепшая душа Семена Андреевича словно упала в обморок: на короткий миг ему открылось безмятежно-счастливое прошлое со всей беспощадностью утраты.

— Понял, Катенька, понял, — прохрипел Семен Андреевич. — Ну и чем ты болела?

— Я спала летаргическим сном. Теперь вот проснулась... но мне врут... тошнит меня... Я в своей карточке все прочитала... а потом... потом в кабинет главного врача... там лежала эта... ну как её? Такая толстая книга... словарь... я и прочитала... летаргический сон... и календарь увидела... уже 1962 год идет... все я проспала... почему?

Голос Кати Непомнящей одолевал странные метаморфозы — сперва звучал как жесткая бумага, затем перешел на ситец, атлас, бархат, пергамент и окунулся в песок, и все потому,

что Катенькой её никто не называл, даже предатель Герман. Предатель Герман называл её Катужкой.

— Понимаешь, Катенька... М-да... Все не так просто... Видишь ли... В летаргический сон впадают люди, перенесшие тяжелое душевное потрясение. Тебе, Катенька, никто не врал, тебя просто берегли от ненужных отрицательных переживаний... М-да... Но если ты все узнала, а это для твоего же здоровья не совсем хорошо, и если хочешь узнать причины... летаргии... ты должна рассказать, что с тобой случилось... Если ты расскажешь, станет легче... Так всегда бывает... Когда человек хранит в себе тяжелые переживания... особенно юный человек... да и не только юный... это заканчивается для организма весьма и весьма плачевно... М-да... Ты поняла меня, Катенька?

Профессор Морфинский осторожно погладил Катину макушку. Наверное, из сердца Кати все страхи, горести и обиды перекочевали на макушку, и когда доктор прикоснулся, то он будто смахнул невидимую, но тугую пленку, под которой жили несчастья девочки. Катя сломала изящную линию шеи, всплеснула руками и стала рассказывать. Она захлебывалась словами, и слова были схожи с теми крылатыми буквами из истории болезни, и вылетали слова тоже птичьими стаями, и разобрать слова могла только любящая душа.

Семен Андреевич понимал Катину историю сердцем и переводил её в рассудок, как переводят обрывки текста с редкого языка. Чем дольше говорила Катя, тем больше мрачнел профессор. Глянцевое будущее, расписанное недавно в мечтах вроде посуды из драгоценных коллекций, давало одну трещину за другой. За будущее придется сражаться.

Когда у девочки закончились слова, у Семена Андреевича вырос новый план.

— Твоего Германа достанем из-под земли. В детский дом больше ни шагу. Жить будешь у меня. В школу не пойдешь. Учить тебя будут дома. А сейчас я уйду, чтобы вернуться с другим врачом. Надо потерпеть.

Семен Андреевич рубил фразы, теребил невнятную пуговицу халата, топорщил брови, а Катя Непомнящая вдруг поняла: в её жизни произошло что-то важное и непоправимое.

Унизительная процедура, через которую проходили воспитанницы детского дома раз в полгода, начиная с двенадцати лет, случилась почти сразу — профессор Морфинский вернулся в Катину палату с незнакомой врачом, худой, в строгих очках и с крупным лицом, похожим на лошадиную морду. Осмотр длился в напряженной тишине. Доктор Морфинский прилип к окну, а девочка Непомнящая от стыда и страха затаила дыхание. Врачи брезгливо стянула резиновые перчатки, швырнула их в Катин горшок и даже не сказала, а выплюнула:

— Восемь недель.

Семен Андреевич хрустнул пальцами:

— Много. Убирать плод опасно.

Врач-лошадь гоготнула:

— Убрать можно, да организм нашей мамочки погибнет вместе с плодом. Слаба девчонка.

Катя Непомнящая, не помня саму себя от пережитого позора, закуталась в простыни до подбородка и едва слышно пропищала:

— Вы о ком? Опять завираете, чтобы я ничего не поняла?

Врачи повела коричневым глазом на манер ленивой кобылы:

— Ишь, непонятливая... Как дела делать, поняла, а что после этого дети заводятся, не знала? Беременная ты. Сема, я пошла?

— Пошла, — ответил профессор Морфинский, по рассеянности не замечая в интонациях повелительного наклонения. — Пошла,

пошла! — он даже пальцем прищелкнул, будто врача должна скинуть врачебный халат и обернуться, наконец, в настоящую лошадь.

Когда за дверью стихло то ли цоканье каблучков, то ли копыт, Семен Андреевич сел возле Кати и долго молчал. Катя тоже молчала, потому что в её душе расцветали нежные бутоны, легонько царапались целлофановыми крыльями теплые стрекозы и порхали бархатные, яркие бабочки. Когда сердце переполнилось, будущая мама потрогала свой живот и сказала с такой твердостью, мужеством и достоинством, какие не посещают сирот из детских домов:

— У моего ребеночка будет своя мама! Это я. Никогда больше не обзывайте его плодом. Я не груша какая-нибудь. Теперь я — мама. А если я блюю из-за моего ребеночка, то я перетерплю, но мама у моего ребеночка будет настоящая.

По личику будущей мамы сбежали прозрачные слезы, и в этой бесцветности слез профессор Морфинский увидел колодезную, с щемяще таинственным духом пустоту сиротства Кати Непомнящей, а к состраданию и жалости добавилась пара штрихов — уважение и страх за участь девочки. Эти штрихи словно довершили полотно будущего сироты Кати Непомнящей и профессора Морфинского. Для обоих началась новая жизнь.

□

Татьяна МЕШКО

родилась в городе Салехарде.

Образование высшее, филологическое.

Более двадцати лет — телеведущая и тележурналист художественного вещания телерадиокомпании «Карелия».

Рассказы и повести были опубликованы в республиканских, столичных и зарубежных изданиях, в том числе в Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии.

Автор повести «Сказки Потерянной деревни».

Лауреат премии «Сампо» за 2005 г. за роман «Колдун здесь».

Член Союза писателей России.

